



АНДРЕЙ ДМИТРИЕВ

ЭТОТ БЕРЕГ

Р О М А Н

Андрей Викторович Дмитриев

Этот берег

Серия «Самое время!»»

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=64848486
Андрей Дмитриев. Этот берег: «Время»; Москва; 2021
ISBN 978-5-9691-2056-3

Аннотация

Действие нового романа Андрея Дмитриева – знаменитого российского прозаика, лауреата многих литературных премий – происходит в наше время в Украине, куда бежит из России герой романа, школьный учитель на пенсии, гонимый собственными страхами и стечением нелепых обстоятельств. Благодаря случайной встрече там начинается вторая жизнь героя – драматичное продолжение первой. Андрей Дмитриев верен литературной традиции и не обманет ожиданий тех, кто уже оценил его «Поворот реки», «Закрытую книгу», «Дорогу обратно», «Бухту радости», «Крестьянина и тинейджера». Но как всякий большой мастер, он с каждым произведением открывается с новой стороны. «Этот берег» – безусловно, трагедия. Но трагедия, созданная по законам комедии ошибок. Так бывает в жизни, а непредсказуемость жизни Дмитриев знает не хуже, чем законы жанра – ему веришь.

Андрей Дмитриев

Этот берег

Художественное электронное издание

Художник – Валерий Калныныш

© А. В. Дмитриев, 2021

© «Время», 2021



Анне

Авель подобрал меня в Каневе; я там красил пристань. Помню, как примчался с шумом из-за острова огромный белый катер, на середине Днепра вдруг сбросил обороты, повернул к берегу и тихо подошел прямо ко мне. Я не успел предупредить человека за штурвалом, чтобы он, когда будет подниматься на пристань, постарался не испачкаться свежей краской ограды. Этот человек и был Авель. На разговор с ним я не напрашивался, но Авель, умудрившись все-таки измазать рукава своей ветровки, заговорил со мной сам, о пустом, не помню, но не о ветровке. Я отвечал ему неважным чем-то, но разговор наш был продолжен и на следующий день, и на другой, и длился все пять дней – ведь ров-

но столько Авель пробыл в Каневе, устраивая там какие-то свои дела. Ночевал он на реке, в своей каюте; мы с ним подолгу говорили вечерами: он с палубы, я – с пристани; и по утрам нам удавалось поболтать накоротке, прежде чем местные партнеры Авеля увозили его в город.

Ему было легко болтать со мной. Я все же отставной учитель литературы с почти сорокалетним стажем; язык мой без костей и хорошо подвешен, но главное – я хорошо обучен слушать. Тому, кто тридцать восемь лет обязан был едва ли не ежедневно выслушивать своих учеников, – ничуть не трудным оказалось с тем же доверительным вниманием послушать своего ровесника, еще и бизнесмена, а бизнесмены были любопытны мне всегда, что бы я там, нищий учитель, ни говорил о бизнесменах вслух.

К тому же Авель явно был умен.

Я – человек закрытый: не в футляре, но уж точно – в раковине. Большинство подобных мне общественных моллюсков замыкается в себе помалкиванием. Чем без толку пытаться вылущить из них хотя бы пару связных слов, проще оставить их в покое. Если они, эти молчаливые люди раковины, хорошо умеют делать свое дело, если они к тому же люди долга, их уважают. Но и не любят, подозревая в них высокомерие. Тех же, кто не только молчалив, но и бестолков, необязателен – не любят и не уважают. Я – дело другое: я говорлив, но это и есть моя раковина. Чем меньше я хочу сказать по существу, тем охотней и обильней говорю: чем больше слов,

тем толще панцирь слов, в котором я себя скрываю, – и тем вернее я разбалтываю собеседника, порой до последней его откровенности.

Авель, похоже, первый в моей жизни человек, с кем этот номер не прошел. Он вскрыл меня легко, словно какой-нибудь француз – устрицу. Я даже не заметил, как он это сделал. Всего лишь за пять дней он вынул из меня всего меня. Он сумел первым услышать от меня, как я вообще оказался в Украине. Уже в тот первый вечер наших разговоров на пристани «Тарасова гора» я начал понемногу, вроде бы и сам того не замечая, выкладывать ему всю эту идиотскую свою дурню, весь этот адов бред – а я ведь запретил себе этим бредом бредить даже и наедине с самим собой... И даже не заметил, как я выдал Авелю, тогда еще человеку случайному, всё – во всех деталях, поворотах, закидонах, страхах, обмороках и слезах... И вот как только это стало мне понятно, как только в откровениях моих настала тишина, я понял: собеседник мой не абы как умен, но он умен умело.

Я повидал немало людей умных, но не умеющих обращаться со своим умом, не знающих, как этим умом толково распорядиться, как его правильно использовать – и еще больше повидал я дураков, у которых даже крохи их дурацкого ума даром не пропадут... Первые кое-что смыслят в людях и в себе, наблюдая себя и людей; кое о чем они догадываются, размышляя о жизни и смерти, космосе и душе, обществе и природе, но вот как превратить все эти смыслы и

догадки в надежные и удобные инструменты, как этими инструментами орудовать на благо людям и самим себе, они не представляют. Они, эти неумелые умы, толпятся, и толкаются, и жмутся у подножий человеческих вершин, легко заводят врагов, с трудом обретают друзей, и даже если им, этим бесталанным умам, везет с работой – не на себя, не на людское благо они работают, но на чужого дядю. Еще есть созерцатели, вроде меня; и, если допустить, что я умен, – проверить, ловок ли мой ум или нелеп, невозможно никакими обстоятельствами: мы, созерцатели, не входим в обстоятельства...

Но мало ли на свете дураков, добившихся всего, о чем они и помечтать не смели, даже и того, о чем они по глупости своей не думали, не слышали, не знали. С какой легкостью им всё дается, и как они вознеслись! Какие люди страшатся с ними вздорить! Какие люди ищут встречи с ними!..

...Авель не только лишь умен, но и умом своим владеет превосходно. Просто загляните в Википедию. Крупный ученый-биохимик, профессор, университетский курс которого, изданный на всех необходимых языках мира, стал настольной книгой двух поколений специалистов, Авель в начале девяностых ушел из науки, перевел свои познания в бизнес (разработка, производство и продажа удобрений), добился в нем едва ли не всего, что по тем временам оказалось возможным, сумел привлечь к себе в сотрудники многих своих учеников и коллег – собственно, всех, кого хотел привлечь;

к тому же его умелого ума хватило и на то, чтобы не лезть в иные сферы бизнеса, отчего Авель почти и не нажил врагов...

Авель повел себя со мной, опытным педагогом, как опытейший педагог. С легкостью выведав всю мою подноготную, он сделал это так тонко и так ласково, что разозлен я не был. Я был ему за это благодарен. Я и сейчас, спустя два года, благодарен Авелю за каневские разговоры, за благодатную возможность исповеди, за то, что после Канева могу хоть вслух, хоть сам с собой сколько угодно говорить о ситуации, разъявшей мою жизнь напополам, – и говорить о ней без боли в сердце и без испарины на лбу.

Я преподавал литературу в средней школе, в российском городишке Хнове – никто о нем не знает ничего, и я не знал, пока не угодил в него по распределению, как только получил диплом Ленинградского педагогического института имени Герцена. Всю жизнь я проработал в этой школе, в этом Хнове, и если в молодые годы были у меня мечты о переезде в большой город, об аспирантуре, о науке (всё это есть у Куприна, пусть там, у Куприна, не обо мне, а о военных), к зрелым годам я о мечтах забыл. Не спеша, но и не слишком мешкая, я оброс семьей, отстроился, разбил сад, завел огород с теплицами. Дом, огород, семья и школа, еще рыбалка, клюква и грибы – и это было всё. Уместен вопрос: как можно быть довольным такой скудной жизнью? Не знаю, был ли

я доволен, но я жил. Не восторгаясь жил – нет, я такого не припомню, – но и не тоскуя, а это поважней любой довольности. Когда мне стукнуло пятьдесят девять и оставался год до пенсии, расклад в моей колоде обстоятельств и возможностей был такой. Мои дети, дочь и сын, в разное время повзрослели – и поразъехались, оставив нас с женой вдвоем. Отношения мои с учениками, их родителями, с коллегами и начальниками сложились как нельзя лучше. Они, эти отношения, и всегда были ровными: я человек неконфликтный, а если кто, бывало, шел на меня с конфликтом наперевес, – я, как природный созерцатель, вызов не принимал, отводил взор и уклонялся от конфликта. Так и созрел мой авторитет... Ученики меня не только лишь терпели, но и заведомо, с родительской подачи, уважали, пожалуй, и любили; начальство, областное и районное, не говоря уже о школьном – при всяком подходящем случае хвалило. Даже в Москве меня два раза помянули добрым словом: в передовой статье газеты «Первое сентября», а в другой раз сам министр назвал меня по имени в своем докладе на специальном всероссийском совещании. Короче говоря, найти мне подходящую замену представлялось невозможным и ненужным, да я и сам идти на пенсию не собирался. Было условлено, что я на нее и не пойду – буду работать в школе, как работал, покуда хватит сил, то есть, по сути, до конца жизни – ее конец в часы задумчивости представлялся мне либо достаточно далеким, либо слишком близким. И некому было мне напомнить в те

одинокие часы задумчивости, что если кошке Бог дал девять жизней, то человеку тоже не одну, но две по меньшей мере...

Когда в десятом «Б» появилась дочь офицера, переведенного из Заполярья в наш хновский авиационный полк, мне и в голову прийти не могло, что первая моя жизнь вот-вот оборвется и надо быть готовым выдюжить вторую. Я лучше умолчу об имени той новенькой из 10-го «Б», тем более что одноклассники по имени не обращались к ней никогда, звали меж собой Капитанской Дочкой, притом что ее отец был майором.

На моих уроках Капитанская Дочка руку не тянула, в споры не лезла; когда я вызывал ее к доске или просил ответить с места, отвечала скудно, но не путаясь, с долгими паузами, но не сбиваясь, пробуя каждое слово на зуб, и произносила это слово осторожно, словно опасаясь сказать лишнее, неуставное или, возможно, не желая выделиться.

Конечно, выделилась, но тихо, не при свидетелях. Однажды после уроков, – а мой урок в десятом «Б» в тот зимний день был шестым, последним, – она осталась в классе и, убедившись, что мы с ней одни, спросила разрешения поговорить со мной о литературе. Я разрешил с готовностью: я поощряю внеурочный интерес к предмету. Прежде чем начать разговор, мы решили подождать, когда уляжется шум в школьном коридоре, когда все разойдутся по домам. Но шум не утихал, кто-то заглядывал и извинялся, хлопнув дверью, пару раз заглянула техничка, нетерпеливо погремев ведром;

пауза затягивалась и становилась в тягость, – я предложил Капитанской Дочке выйти наружу, на мороз, и пройтись по льду Озера.

Поверх льда был ровно накатан ветрами зимы твердый и хрупкий, как скорлупа, снежный наст. Он слишком ярко, до рези в глазах, сверкал белизной, иногда вдруг нахмуриваясь, как только на небо набегало быстрое облако, или когда внезапный, короткий порыв низового ветра гнал из-под наших ног легкую поземку. Мы шли прочь от берега, пока не отшагали от сплошной линии ледовых торосов, прибитых к нему еще в начале зимы, не менее километра. Молча свернули в сторону и пошли вдоль заснеженной, изломанной прибрежной линии, издалека похожей на горный хребет... Наше молчание длилось долго, и мне наскучило гадать, о чем Капитанская Дочка хочет меня спросить: о Гарри Поттере или о Пелевине? о Есенине или о Полозковой, об Ерофееве или о Ерофееве, или о жизни вообще? – я не люблю этих девичьих глубокомысленных вопросов, но старшеклассницам, как я усвоил, свойственно, едва начав разговор во здравие, то есть о литературе, тут же свести его к заупокойным унылым вопрошаниям о смысле жизни... Я ужасно продрог за время этой странно-безмолвной прогулки и первым нарушил молчание, прокричав, дабы быть услышанным в мерном грохоте и нытье ломкого наста, свою любимую зимнюю при сказку:

«Месяц ясный, двенадцать лысых, мороз сломайте!»

В ответ я был готов услышать что угодно или же вовсе не услышать ничего, но уж никак не то, чем отозвалась Капитанская Дочка:

«Неправильно», – сказала мне она.

Конечно, я ее не понял; конечно, я спросил, что именно и где – неправильно. «Эту молитву, – ответила она, – положено произносить ночью – там же про месяц! – и встав на колени в сугроб... Где месяц днем? И где здесь сугробы?» Я вежливо осведомился, откуда у нее столь необычные познания.

«Это же Пришвин», – услышал я в ответ.

«Да! – вспомнилось и мне. – Понятное дело, Пришвин. Я так привык к этой поговорке, ты извини, молитве, что уже забыл, откуда она во мне. Из “Дневников” Пришвина, понятное дело».

Мы наконец остановились, посмеялись, обхлопывая каждый себя по бокам и оттапывая под собою наст, чтобы согреться хоть немного... Капитанская Дочка спросила, что я думаю об этих «Дневниках». Я ответил ей, может быть, скучно, но точно. Сказал, что полагаю их одними из ярчайших свидетельств эпохи. Нащупывая почву дальнейшего разговора, спросил:

«Ты их все читала?»

«С четырнадцатого года по семнадцатый – все... – ответила она, – а дальше – начала читать и не смогла, все бросила».

«Да уж, – догадался я, – дальше читать тебе было бы трудно. Очень там страшно».

Она подумала и согласилась:

«Да. Неприятно».

Я все-таки попробовал узнать, о чем она хотела говорить со мной, – она сконфузилась, пожаловалась на холод, извинилась и побежала к берегу. Ее длинные ноги, обутое в синтетические валенки, были до того тощими, что казалось, они вот-вот на бегу подломятся.

...Конечно же, внеклассные беседы о литературе с Капитанской Дочкой были продолжены, как с самого начала повелось, на льду Озера – и вдали от людей, и у всех на виду. В ту зиму нас, пожалуй, не видели вдвоем лишь полоумные любители подледного лова, неподвижно сгорбленные над своими лунками, меж которых мы с Капитанской Дочкой бродили иногда часами, до появления над Озером белой луны.

О Достоевском и Булгакове, всегда, сколько себя помню, близких читающему подростку, мы с ней не вспомнили ни разу, возможно, отложив разговоры о них на будущее. А говорили мы – вразброс, не выбирая, следуя случайным поводам: о «Докторе Живаго», о рассказах Зощенко, о Паустовском, братьях Маннах, Фолкнере и Хемингуэе, о Солженицыне и о «Хаджи-Мурате». Ну кто еще из русских школьников заговорит со мной сегодня о «Хаджи-Мурате»?.. Она хотела знать со всей определенностью, был ли прав Томас Манн, когда утверждал в «Тонио Крёгере», будто нельзя сорвать и малого листочка с *дерева искусства*, не заплатив *всей своей жизнью* за этот маленький листочек. Я ей сознался, не

солгав: ответ мне неизвестен; я никогда не рвал эти листочки, – чем сильно ее разочаровал.

Подозреваю, не любой, но всякий вдумчивый учитель мечтает об ученике, с которым можно было бы вести свободный, равный разговор о своем предмете по ту сторону методик и инструкций, за пределами класса, школьных толп и коридоров, на иных, непредумышленных и непредсказуемых пространствах, не ожидая никакой иной награды, кроме удивления. Да, Капитанская Дочка удивляла, но удивление мое оказалось чреватым досадой и растерянностью.

К примеру, после разговора о Бродском, ею же затеянно-го, она вдруг принималась с подростковой слезой в голосе декламировать чудовищные вирши какого-то Игната Колупеева, зачем-то вылущенного ею со дна запутавшейся мировой сети, – со всем их тяжело сопящим эротизмом, со всем по-петушиному хлопочущим патриотизмом. Она любила помечтать со мной о Гумилеве, как если б он был жив; она чудесно наизусть читала «Заблудившийся трамвай», а следом, безо всякой паузы, с тем же исповедальным упоением – стихи кумира недалеких девочек времен моей далекой юности, Асадова... Лев Толстой уютно уживался в ней с Анатолием Алексиным, Афанасий Фет – с Андреем Дементьевым, Ходасевич – с Наумом Митрофановичем Сусленко, редактором районной газеты «Святое Озеро», регулярно публикующим свои эзотерические сонеты на предпоследней странице этого нашего органа... Я был обескуражен, но ста-

рался быть перед собой честным и в обескураженности. Разве я, поклонник Баратынского и Пастернака, ценитель Шостаковича и Шнитке, не позволяю самому себе насвистывать мотивчики и намурлыкивать *слова* разных пошлейших модных песенок?.. Всё – так: и напеваю от души, и намурлыкиваю, и вообще всеяден, как и всякий представитель человеческого рода – но все ж не ставлю в один ряд Пастернака с его прозой и стихами и мотивчик со *словами*. Моя же Капитанская Дочка в умении не путать Божий дар с яичницей ни разу мною не была замечена. Все, что ее вдруг увлекало, волновало и захватывало, уже по этим трем причинам выставлялось ею в один ряд... Человека шлифует среда, но Капитанская Дочка, с рождения кочующая по гарнизонам, не знала никакой среды.

Наш лучший стоматолог Бровман установил Капитанской Дочке стальную скобку на зубах. Он взялся ей поправить прикус. Я же пытался исправить ей вкус... Не знаю, не увижу никогда, насколько преуспел Оскар Яковлевич Бровман, но мне не довелось довершить начатое.

На нас поглядывали гадко. Чтобы стряхнуть с себя все эти взгляды, мы по весне перенесли наши беседы на окраину, в парк с аттракционами, переходящий в лес. Взгляды стали ощутимо гаже; нас облепила липкая молва. Она нагнеталась, пухла, нарывала – и нарыв прорвался. Жена исполнила мне оперную арию с рыданиями, диким матом и заламыванием

рук. Она достала с полки, как доказательство моей вины и подлости, набоковский том с «Лолитой» и ткнула в нем туда, где сказано о скобке на зубах Лолиты... Я вспомнил, как принес когда-то «Лолиту» в дом, и как она, моя жена, хихикала. Листала и хихикала! листала и хихикала! Мне это было противно, но я боялся ее обидеть, и тоже – не хихикал, но посмеивался. Я и сейчас всеми щеками чувствую, как краснею, вспоминая о том посмеивании, то есть сейчас мои щеки буквально горят... А тут и наш майор, отец Капитанской Дочки, поймал меня за воротник рубашки и выдохнул в лицо, как будто бы они с моей женой договорились:

«Не смей мне только зубы заговаривать. Я как-нибудь читал вашу “Лолиту”. И я вас всех знаю насквозь, старых извращенцев!»

Этим тогда и кончилось, он отпустил мою рубашку, и я еще подумал: «Надо же! Майор, а читал “Лолиту”... – Потом сообразил: – Конечно же, читал! Одну ее он и читал! Как читали ее и бывшие американские майоры, едва о ней прослышав... Читали вслух, друг другу передавали, и листали, и хихикали!»... Майору чем-то нравилась моя рубашка. Помню, как в очередной раз он держал меня за воротник и все зудел, глядя куда-то в угол:

«Эх, был бы ты моложе, ты бы у меня узнал... Да, будь ты помоложе, я бы тебе показал. Я бы разъяснил... Ох, будь ты ну чуть-чуть моложе, ты б у меня раскаялся. Ох, ты бы пожалел... Или ты будешь отрицать, что тебе есть о чем жалеть?»

Я отрицал, но не оправдывался, и дождался совместной жалобы майора и моей жены в районный отдел народного образования. Директор школы, мой товарищ, вызвал меня к себе. Он тряс перед моим лицом этим доносом с неопределенно-грозной резолюцией на нем своего начальства. Я все отрицал, но не оправдывался. И не в чем мне было оправдываться. Даже когда мы с Капитанской Дочкой, допустим, в скверную погоду спасались от дождя под одним зонтиком, я ни разу не коснулся ее руки и рукава ее не тронул и случайно, например, споткнувшись. Я и не мог тронуть ее за рукав: я при ходьбе, когда вслух размышляю, руки свои держу, сцепив их, за спиной в силу давно заведенной привычки.

Тут-то мне и стукнуло шестьдесят. Я достиг пенсионного возраста и вопреки всем обещаниям, договоренностям и планам, несмотря на надвигающиеся экзамены, был уволен. Букет бледных тюльпанов и шоколадный набор вместе с упакованным в коленкор так называемым адресом от коллег я принял как должное, то есть как издевательство.

Роль невинной и безответной жертвы мне претила. Я объявил жене, что видеть ее не могу, ухожу от нее незамедлительно и навсегда. Дети наши давно выросли и поразъезжались; моя совесть перед ними была чиста. Вопрос, где жить, был не вопрос. Феденька Обрезков, школьный учитель физкультуры, мой товарищ по рыбалке, всегда готовый помочь всем и во всем, не способный никому ни в чем отказать, пустил меня к себе, в свою холостяцкую квартиру. У Федень-

ки был автомобиль, дряхловатый, цвета вытертой клеенки «Москвич» с высоким кузовом. Феденька звал его «каблук». Мы с Феденькой, что ни утро, ездили на «каблук» по берегу Озера в сторону Пытавина, ловили сига, судаков и щуку. Потом Феденька вез меня к себе отсыпаться, а сам отправлялся на работу, в наш школьный спортивный зал...

Однажды Феденька пришел домой под вечер с жалкой, мутной и невнятной, как отражение в стоячей луже, миной на лице. Помявшись и позапинавшись, он признался, что не сумел отказать моей жене в одной ее маленькой просьбе. Эта просьба состояла в том, чтобы свозить ее на «каблук» в областной центр, к букинистам, вместе со всей моей библиотекой – прощай, моя библиотека, я собирал тебя почти всю жизнь. Прощай, темно-зеленый Диккенс, все тридцать восхитительных томов!.. Прощай, весь темно-голубой Толстой!.. Прощайте, рыжий мой Шекспир и темно-синий Пастернак!.. Прощай, багровый Маяковский!.. Прощай, зеленатоватенький Есенин!.. И Пушкин, да, и ты прощай!.. Прощайте, черный Горький, коричнево-красный Герцен, серый Драйзер, и много, много что еще!.. Прощай, жизнь – едва ль не все, что было в ней мне дорого...

Тут уже я выдал жене оперную арию. Обошелся без заламывания рук, тем более без рукоприкладства, но в выражениях я не стеснялся... И вскоре пригласил меня к себе Гурген Гургеньич Самвелян, начальник хновского РОВДа. Сына его, беспробудно сонного Кориолана, я год от года за уши тя-

нул из класса в класс... Мы встретились в центральной миллиардной нашего района, в торговом центре «Витязь», где Гурген Гургеныч прятался от жизни каждый вечер. Там, отложив кий, он дал мне прочесть заявление моей жены, в котором она обвиняла меня в совращении малолетней ученицы.

«Не знаю, что у вас там вот, и не хочу ничего знать, – сказал Гурген Гургеныч, – но лучше бы тебе от нас куда-нибудь податься, подальше от беды. Сейчас на эту тему все свихнулись. Стоит кому улыбнуться чужому ребенку или подмигнуть, упаси Бог, – сразу тащат ко мне – на скорый суд и верную расправу... Я бумажке этой хода пока не дам, но кое-что меня тревожит. Больно грамотно она составлена. Подозреваю, это не одна твоя жена. Подозреваю, здесь ей адвокат помог, Стримайлов, – я узнаю его поганый стиль... Исчезни прочь из их глаз – глядишь, они привыкнут без тебя, да и забудут о бумажке».

Я поблагодарил Гурген Гургеныча. Погоревал, но и послушался его. Поехал к сыну в Новозыбков, потом и к дочке в Брянск. Никто из них не мог меня принять надолго, уж больно тесно им живется, что в Новозыбкове, что в Брянске. Я не держу обиды на детей. Я не гожусь на роль короля Лира...

Поразмыслив так и этак, я взял нервы в руки и пустился в самостоятельное плавание. Торчать бельмом на совести детей я не хотел, поэтому не стал искать себе пристанище там,

в Брянске или в Новозыбкове. В учителя меня, пенсионера, нигде не брали – ни в Рыльске, ни в Ивне, ни в Белгороде, зато охотно взяли школьным сторожем в Шебелкине. Хорошо быть школьным сторожем: тебе положено жилье при школе и за него не нужно платить. Зарплата маленькая – но и не меньше пенсии, которую я перевел на жену. Одно плохо – еженощные дежурства; и очень скоро я ослаб от недосыпа до того, что выпустил нервы из рук. Недоспавший, с выпущенными нервами, я позвонил Гурген Гургенычу. Спросил, как он живет и, кстати уж, не забрала ли часом моя бывшая свою поганую бумажку. Гурген Гургеныч мне ответил, что живет он хорошо, но лучше всех живет моя жена, а именно – с Феденькой Обрезковым, который ей ни в чем не смеет отказать. Что до бумажки, моя бывшая не думает ее забирать и все настойчивей интересуется дальнейшей ее судьбой. Все это очень плохо, сказал Гурген Гургеныч. Вечно держать проклятую бумажку под сукном он не может себе позволить. Я робко предположил, что Капитанская Дочка, если ее спросят, наговаривать на меня не станет, и вот что мне ответил многоопытный Гурген Гургеныч:

«Никто не может поручиться за то, что она скажет, пока она во власти своего отца-майора, который держит ее взаперти и запрещает с кем-либо общаться за пределами школы».

Я впал в уныние. Он попытался успокоить меня тем, что дело на меня пока не заведено и в розыск я не объявлен...

Лучше бы он меня не успокаивал. Мои нервы пошли вразнос.

Мне приходилось слышать и читать о мании преследования, и у меня такое складывалось впечатление, что все, кто говорят о ней и пишут, действительно страдают этой манией или, по меньшей мере, знают, что она такое. Теперь же я имею право утверждать: никто из тех, кто говорит и пишет, не знает, что она такое, а я – один из тех, кто знает... Никто мне не мерещился, и никого я за спиной не чувствовал затылком, и шорохов не слышал, и теней под фонарем на пустой улице ни разу не встречал... Другое было. Я вроде уяснил: никто пока не собирается меня искать – но каждый Божий день, каждую ночь без сна проживал в упрямом убеждении, что я объявлен в розыск *молча*, и что негласная, безмолвная охота началась.

Чем жить такими страхами, лучше совсем не жить. Не поручусь, что бы я мог или не мог с собою сделать. Не представляю, чем бы пролилась моя тихая гроза, если бы не спасительное чувство границы... Тут я не о границе между здоровым умом и безумием, и не о границе между жизнью и смертью говорю – я говорю о государственной границе с Украиной. Граница была рядом. Довольно было перейти ее, чтобы все страхи и угрозы навсегда остались за моей спиной.

В последнюю неделю мая две тысячи двенадцатого года я получил зарплату и сквозь контрольно-пропускной пункт «Шебекино – Плетеневка» пересек эту границу. В украин-

ской Плетеневке обменял свои последние рубли на гривны и пошел, куда не зная, от села к селу, от міста к місту, – я помню те названия: Волчанск, Люботич, помню Валки... Я сэкономил на ночлеге: спал в полях, на нагретой земле – бывалому рыбаку, мне было к этому не привыкать. Еда в придорожных забегаловках и магазинчиках была дешевой, люди – приветливы, небо – ясно, самочувствие, для моих-то лет, было отменным, тем более что я себя вперед не гнал и не позволял себе уставать. Чтобы не нарываться на неприятности и не создавать себе вздорных проблем, я избегал скопленных праздных, подозрительных людей и не заходил в большие города. На моем пути их было два: Харьков я обошел стороной через Дергачи, Полтаву – через Решетилровку. Одно тревожило: гривны кончались, а меня нигде не брали на работу. Ума не приложу, с чего я взял тогда, что безработному учителю русской литературы, явившемуся из России, будет отдано предпочтение перед украинскими безработными учителями. К тому же у меня, иностранца, не было разрешения на работу в Украине – ни в одну из школ на моем пути меня не брали даже сторожем...

Мне повезло в Глобине. Директор местной фабрички после случайного с ним разговора нанял меня репетитором к сыну, собравшемуся поступать в Воронежский университет. На еду теперь хватало, была и крыша над головой: я снимал угол у одной тихой старухи, которая, ну дай ей Бог всего, о чем всю жизнь она мечтала, подарила мне теплые ве-

щи покойного мужа... В августе мой подопечный отправился в Воронеж, и мне пришлось пуститься в путь – пешком и на маршрутках, в неизвестность.

На окраине Черкасс мне снова повезло: я был нанят сторожить продуктовый минимаркет. Его хозяин разрешил мне спать в подсобке, кормил два раза в день, но денег не платил – лишь обещал туманно... Я прожил в той подсобке у шоссе всю осень, зиму и раннюю весну тринадцатого года. В апреле мой работодатель срочно продал минимаркет, сам исчез, и я опять остался на бобах. Ночевал где придется, мир не без добрых людей. В Черкассах стриг траву обочин и газоны, в Городище клеил объявления, будучи самым прилежным их читателем: по объявлениям и вывескам, составленным из самых нужных в обиходе слов, я начинал учить украинский язык... В Белой Церкви я красил мусорные баки, в Погребице – скамейки и заборы. Когда я красил пристань в Каневе, уже придумывая способ задержаться в нем надолго, хотя бы для того, чтобы разглядывать по вечерам Днепр с Тарасовой горы, судьба направила ко мне белый, как птица, катер Авеля.

Едва успев со мной поговорить, Авель спросил, не объясняя для чего, управлюсь ли я с пристанью в пять дней... Я с ней управился и за два и приходил потом на пристань только для того, чтобы его увидеть. Устав от бесконечных бессловесных разговоров с самим собой, я в нем обрел живого собеседника, беседами не успевал насытиться и с каж-

дым днем нуждался в них все больше. На пятый и последний день своей стоянки в Каневе Авель предложил мне работу – выкрасить забор вокруг его, как он выразился, *базы* где-то под Киевом, если, разумеется, меня не держат в Каневе другие важные дела. Таковых не оказалось, и вслед за Авелем я поднялся на борт его катера.

...Мы плыли по Днепру и пили виски, непривычный мне напиток, знакомый лишь по книгам, кинофильмам и по дивной песенке Вертинского о прелестях мужского одиночества... Авель, заместив матроса, сам встал у штурвала; я спал в отведенной мне каюте на чистых простынях – или разнеженно глазел на предвечернее олово воды, на крутой, как борт фрегата, берег в круглых, будто пушечные бухты, гнездах стрижей... Когда штурвал надоедал Авелю, он снова поручал его матросу и шел ко мне с двумя стаканами виски, наполненными на треть. Мы начинали пить молча, потом вдруг разговор возобновлялся сам собой, почти всегда на том же месте, где был прерван, и неспешно длился, пока не становился сбивчив и сам собою утихал, и я шел спать, а Авель вновь вставал к штурвалу.

Почти в конце пути, когда слева по борту горой вознесся старый Киев, а на горе зыграло золото Лавры, Авель спросил меня, есть ли какие-нибудь вести от Капитанской Дочки и как там у нее дела... Я был смущен. Не сам вопрос меня смутил, тем более что на него ответ был прост: нет от нее известий, да и куда ей посылать известия, если б они и бы-

ли... Внезапное открытие смутило: я и не ждал известий от нее, не ждал и не желал, больше скажу – за все время скитаний я о ней ни разу не вспомнил, хотя, конечно, некой слабой тенью в толпе других теней из моих снов она, пожалуй, и мелькала. Да, я был смущен вопросом Авеля. Пусть перед нею я ни в чем не провинился, совсем забыть о ней было, конечно, некрасиво. Апель меня успокоил:

«Теперь я вижу, у тебя с ней в самом деле ничего не было, даже и в мыслях. Не думал о ней – и не думай. На твоём месте и в твоих обстоятельствах мне, например, думать о ней было бы крайне неприятно...»

Забор на базе я покрасил, как и было велено, в болотный цвет, и Апель предложил мне задержаться. Не каждый день, но через день-другой он мне давал мелкие поручения: вывезти мусор, починить велосипед, перекрасить забор из болотного в цвет охры, потом и в терракотный, упорядочить библиотеку на чердаке большого гостевого дома, где все книги были разбросаны гостями куда и как попало. Бывали и ответственные поручения, к примеру, съездить в Киев и передать партнеру пакет с бумагами или наличными деньгами. Возможно, Апель меня проверял. Возможно, ему было лень ехать в Киев самому. Возможно, ему было неприятно встречаться с тем партнером. Возможно, он не слишком доверял водителю, который вез меня на встречу с тем партнером и мог бы сам, казалось бы, отдать ему пакет... Как бы то ни было, но тому уже два года, как я нанят Авелем на постоян-

ную работу в качестве коменданта базы.

В мои обязанности входит следить, чтобы ничего на базе не сломалось, не пожухло и не прохудилось, а если что из строя выйдет – звать рабочих, приглядывать за ними, принимать у них работу, платить им за нее, потом отчитываться перед Авелем по платежам. Я веду учет всего инвентаря, посуды и постельного белья в коттеджах базы, в доме Авеля. Особая статья – сохранность и готовность лодок. Их у нас восемь, не считая аквабайков и флагмана флотилии, белого катера: три – с подвесными японскими моторами, три легких весельных ялика и две небольшие парусные яхты. Я плохо разбираюсь в лодочных моторах и ничего не смыслю в парусах, и потому я должен раз в два месяца вызывать механика из киевского яхт-клуба, чтобы он проверил паруса и моторы. Зато пятнадцать велосипедов в гараже – всецело под моей ответственностью. Они должны быть все исправны, где надо смазаны, с туго накачанными шинами на случай, если гости Авеля, как правило перед обедом, дружно сядут в седла и стройной толпой с Авелем впереди покатают по шоссе на север – там, на подъезде к Суховееву, есть, говорят, прекрасный ресторан. По завершении обеда хорошо выпившие гости благоразумно в седла не садятся – ведут свои велосипеды пешим ходом, придерживая их за рули, словно коней за холки, по обочине шоссе назад, на базу – путь не короткий, между прочим... Я отвечаю самолично не только лишь за велосипеды, в которых знаю толк. Я соержу в порядке

удочки и спиннинги, снасти и наживку, сам ловлю рыбу к общему столу. Я не один ее ловлю, но я один налавливаю. Другие со мной ловят ради недолгого удовольствия; за битый час поймают рыбку-две, и заскучают, и свернут удочки, однако точно зная, что без ухи я не оставлю никого... Но главная моя забота – персонал: всё подмечать за ним, держать его работу под приглядом и не давать им всем расслабиться. Прежде всего это касается уборщиц, Натальи и Ганны, они же горничные и, если требуется, официантки. Обе живут в соседней Борисовке, служат на базе, сменяя одна другую через день и норовя все сделать наспех, лишь бы пораньше убежать к себе в Борисовку, а там у каждой и семья, и дом, и сад, и огород, и разная домашняя скотина... Случается, посуда мыта, но не домыта, чистое белье в коттеджах постелено, да не поглажено... Я им обеим всякий раз на это строго указываю, но лишь под конец рабочего дня. Без толку дергать их в разгар работы и тем более на них покрикивать я себе никогда не позволяю. И мы не ссоримся.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.